

Научная статья

DOI: 10.15393/j9.art.2025.16043

EDN: ATZHFG



«Пережитое и передуманное» В. И. Кельсиева: романизация исповеди и публичная модель возвращения из эмиграции

В. М. Димитриев

независимый исследователь

(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

e-mail: ganthenbein@gmail.com

Аннотация. Судьба В. И. Кельсиева (1835–1872) — сперва революционного деятеля 1860-х гг., а затем убежденного панслависта, неожиданно вернувшегося в Россию после девяти лет жизни за рубежом, — позволяет проследить, как в русской литературе второй половины XIX в. складывается сюжет возвращения из эмиграции. Причины своего возвращения в Россию Кельсиев объяснил в двух автобиографических текстах: написанной до официального прощения «Исповеди» (1867), которая была обращена к российской власти и нацелена на политическую реабилитацию, и мемуарах «Пережитое и передуманное» (1868), адресованных широкому читателю. Переход от одного текста к другому сопровождался сменной адресата, изменением авторской задачи и перестройкой композиции. Исповедь представляет собой хронологический рассказ от начала эмиграции до возвращения, а в мемуарах возвращение в Россию — это начало повествования. Оба текста тяготеют к романной форме, но в воспоминания Кельсиев включил также автохарактеристику, подробно разобрав свое воспитание и круг чтения, что сделало этот фрагмент похожим на предысторию героя. Публичный образ раскаявшегося эмигранта, сформированный в текстах Кельсиева, занимает важное место в общественных дискуссиях 1860–1870-х гг. Ориентированные на мемуары А. И. Герцена как на претекст, воспоминания рассматриваются в критике (А. И. Герцен, Д. Д. Минаев, А. Н. Пыпин, Н. М. Михайловский, П. Н. Ткачев) как симптом кризиса людей шестидесятых годов и даже как предмет для психологического и психиатрического анализа героя. Другой была реакция Достоевского, сочувствовавшего возвращению Кельсиева и использовавшего мотивы его поступка в изображении героев-эмигрантов. Рецензия Кельсиева на «Загадочного человека» Стебницкого-Лескова послужила источником статьи Достоевского «Одна из современных фальшей».

Ключевые слова: В. И. Кельсиев, эмиграция, исповедь, мемуары, перформативность, А. И. Герцен, Ф. М. Достоевский

Благодарность. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (РНФ, проект № 24-18-00762 «Классики русской литературы второй половины XIX века: биографические "пересечения", критическая рецепция и интертекстуальные связи»; <https://rscf.ru/project/24-18-00762/>, ИРЛИ РАН).

Для цитирования: Димитриев В. М. «Пережитое и передуманное» В. И. Кельсиева: романизация исповеди и публичная модель возвращения из эмиграции // Проблемы исторической поэтики. 2025. Т. 23. № 4. С. 158–188. DOI: 10.15393/j9.art.2025.16043. EDN: ATZHFG

Original article

DOI: 10.15393/j9.art.2025.16043

EDN: ATZHFG

“Experienced and Reconsidered” by Vasily Kelsiev: The Romanization of Confession and the Public Model of Return from Emigration

Viktor M. Dimitriev

independent researcher

(Saint Petersburg, Russian Federation)

e-mail: ganthenbein@gmail.com

Abstract. The life of Vasily I. Kelsiev (1835–1872) illustrates how Russian literature of the later nineteenth century developed the motif of return from emigration. Kelsiev began his career as a revolutionary activist in the 1860s and later adopted a Pan-Slavist position. After spending nine years abroad, he returned to Russia and explained his decision in two autobiographical works: “Ispoved” (“Confession,” 1867), written before his official pardon and addressed to the imperial authorities, and “Perezhitoe i peredumannoe” (“Experienced and Reconsidered,” 1868), intended for a broad readership. The two texts differ in their intended audience, purpose, and narrative design. The “Confession” presents a chronological account from the beginning of Kelsiev’s exile to his return. “Experienced and Reconsidered” opens with his return and reconstructs the events that preceded that point. Both texts show a tendency toward a novelistic form, but the memoir also contains an extended self-portrait that outlines Kelsiev’s upbringing, reading experience, and intellectual formation. This section functions as a narrative exposition and contributes to the formation of his public image. The figure of the “repentant émigré,” shaped through these writings, became a point of reference in the debates in the 1860–1870s. Contemporary readers such as A. I. Herzen, D. D. Minaev, A. N. Pypin, N. M. Mikhailovsky, and P. N. Tkachev interpreted Kelsiev’s memoirs as evidence of a broader crisis within the 1860s generation and at times treated them as material for psychological analysis. F. M. Dostoevsky responded differently. He viewed Kelsiev’s return sympathetically, drew on it in creating several of his émigré characters, and may have used Kelsiev’s review of Stebnitskii-Leskov’s “Zagadochnyi chelovek” (“An Enigmatic Man”) as a source for his essay “Odna iz sovremennykh fal’shei” (“One of Today’s Falsehoods”).

Keywords: Vasily Kelsiev, emigration, confession, memoirs, performativity, Herzen, Dostoevsky

Acknowledgments. The research was carried with the financial support of the Russian Science Foundation (RSF, project number 24-18-00762, <https://rscf.ru/project/24-18-00762/>).

For citation: Dimitriev V. M. “Experienced and Reconsidered” by Vasily Kelsiev: The Romanization of Confession and the Public Model of Return from Emigration. In: *Problemy istoricheskoy poetiki* [*The Problems of Historical Poetics*], 2025, vol. 23, no. 4, pp. 158–188. DOI: 10.15393/j9.art.2025.16043. EDN: ATZHFG (In Russ.)

В литературной и интеллектуальной истории В. И. Кельсиев (1835–1872) известен прежде всего как революционный деятель и политический эмигрант герценовского круга¹, издатель старообрядческой литературы и автор путевых очерков о русских и славянских колониях на Балканах и в Османской империи ([Кленовский], [Гросул], [Соловьев, 2010, 2011]). Его имя также упоминается в контексте творчества Н. С. Лескова² и Ф. М. Достоевского. Еще А. С. Долинин предположил, что Кельсиев, ставший из революционера панславистом, мог послужить одним из прототипов Шатова в «Бесах», а описанный им эмигрант П. И. Краснопевцев — прототипом Кириллова [Достоевский; т. 12: 231–233]. Недавние исследования акцентируют внимание на путевых очерках Кельсиева о Галичине и Молдавии [Кравчук], а также на его участии в революционных событиях 1860-х гг., важных для истории «Бесов» [Тарасова]. Однако как самостоятельный писатель он воспринимается редко. Хотя его поздние беллетристические опыты не вызвали интереса у публики (см. об этом: [Соколов]), литературное наследие Кельсиева, от переводов и публицистики до мемуаров, повестей, исторической прозы и замыслов фантастических произведений, заслуживает внимания.

На оригинальность литературного таланта Кельсиева едва ли не первым указал Л. Н. Чертков в статье «Между Гофманом и Герценом — Василий Кельсиев» (1978), отметив его глубокую вовлеченность в мистико-романтическую традицию, которую он пытался соединить сначала с революционными идеалами,

¹ Противоречивая фигура Кельсиева известна в основном в герценовском описании [Герцен; т. 11: 329–340].

² Кельсиев — один из персонажей повести Н. С. Лескова «Загадочный человек» (1870). См.: [Лесков: 7–102, 575–639].

затем — с панславистской программой, интерес к которой во многом вытекал из занятий расколом [Tchertkov].

Но центральным эпизодом биографии Кельсиева, послужившим главной причиной интереса общественности к нему, стало покаянное возвращение в Россию 20 мая 1867 г. Прибыв на Скулянскую таможню в Бессарабии, он попросил ареста как неосужденный государственный преступник. Из заключения в Кишиневе Кельсиев направил письмо шефу жандармов П. А. Шувалову с просьбой передать его дело III Отделению, обещая предоставить сведения о своей впечатляющей эмигрантской одиссее: из Лондона до Молдавии и Валахии. Вскоре его этапировали в Петербург, где, по согласованию с тайной полицией, он составил записки («Исповедь»), прочитанные Александром II в августе того же года. Император даровал ему полное прощение, вернул права состояния и выдал разрешение проживать в столице.

Уже в 1868 г. был опубликован мемуарный текст «Пережитое и передуманное», выстроенный на том же материале, что и «Исповедь» Кельсиева, но предназначенный для широкой публики. Если первый текст был ориентирован на власть и имел прагматическую цель, то второй предлагает литературную интерпретацию пройденного пути, переосмысленную со сменой адресата.

В этих двух сочинениях можно наблюдать процесс постепенной романизации, к элементам которой следует отнести композиционное оформление (хронологическое — в исповеди и ретроспективное — в мемуарах), включение в мемуары экспозиции героя (описания круга чтения и воспитания) и др. В обоих случаях рассказ идет о разных этапах впечатляющей кельсиевской жизни: работе в кругу Герцена, Огарева и Бакунина, попытках революционной пропаганды среди старообрядцев и изучении связанных с ними материалов, революционной деятельности в Европейской Турции, включающей организацию «Общего вече» (приложения к «Колоколу»). Автор описывает отношения с новоприбывшими представителями «молодой эмиграции» и попытки организации русской революционной колонии в Тульче вместе с М. С. Чайковским, И. И. Кельсиевым, авантюрную поездку в Россию по турецкому паспорту

в 1862 г., личные трагедии и разочарования, поездку в Вену, путешествия по Галичине и Молдавии и свою сдачу правительству. Но в «Исповеди» уклон делается на информативную часть (там больше деталей и конкретных имен), а в мемуарах — на экспрессивную (преобладают впечатления и рассуждения, а также добавляются главы о времени, предшествующем эмиграции).

Настоящая статья ставит задачу проследить формирование двойной прагматики кельсиевских текстов, политической и литературной, и показать, как их исповедально-мемуарная структура создает публичный образ раскаявшегося эмигранта. Нас интересует, как этот образ был воспринят в критике и использован в прозе и публицистике Достоевского.

Прагматический смысл написания «Исповеди» был сформулирован еще в предваряющем письме к Шувалову:

«Что меня ждет, граф? Я злого ни России, ни правительству ровно ничего не сделал... Я х о т е л сделать, я делал попытки, я трудился, но все было н а п р а с н о, теории мои были неприменимы к практике, и я только воду толоч. <...> если правительство мне позволит, я бы охотно написал и напечатал некоторые эпизоды из моих агитаторских походов, в поучение юношам, садящимся не в свои сани»³.

Собственная биография переосмысливается Кельсиевым через поворот к покаянию:

«Из юноши, <...> сделавшегося революционным агитатором и организатором, я превратился в горячего верноподданного...» (*Исповедь*: 266).

³ Кельсиев В. И. Исповедь / подгот. к печати Е. Кингисепп, вступ. ст. и коммент. М. М. Кленовского // А. И. Герцен. П. М.: Изд-во АН СССР, 1941. С. 266. (Сер.: Лит. наследство; т. 41/42.) Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения *Исповедь* и указанием страницы в круглых скобках.

Будущие записки должны не только сообщить факты, но и восстановить правовой и социальный статус его автора⁴. Кроме того, Кельсиев уже на этом этапе, за жандармом как прямым адресатом, угадывает и широкую аудиторию — «юношей», которых готовится поучать.

Выстраивая повествование в перспективе чужого взгляда, Кельсиев подбирает формулировки, заранее подсказывающие, как его самого можно разоблачить. Он объясняет свой уход в эмиграцию общим настроением «русской молодежи», а собственную радикализацию — незнанием жизни: «Жизнь я вел в Петербурге кабинетную, сведения и теории мои были почерпнуты из книжек и из рассказов таких же юношей...». Свои занятия восточными языками он тоже интерпретирует как препятствие к пониманию «действительной жизни и общественных отношений» (*Исповедь*: 269). Себя он неустанно презентует как человека, который «ничем так не интересовался, как всем загадочным, вычурным, таинственным» (*Исповедь*: 286). С тягой к таинственному он связывает все свои решения, притом относится к ней двояко: она приводит его к революционным утопиям, и она же вдохновляет интересоваться старообрядчеством, Европейской Турцией и Галичиной, противопоставляя его «кабинетным реформаторам» (*Исповедь*: 394–395).

⁴ Подобный поступок совершает уже совсем в другую эпоху В. Б. Шкловский, поместивший в конец романа «Зоо, или Письма не о любви» (1923) письмо, направленное во ВЦИК, которое должно было, вместе с автобиографическим экспериментальным текстом, подготовить возвращение автора из эмиграции. Литературная и политическая прагматика здесь пересекаются (см.: [Калинин], [Булатова]), как и в случае с Кельсиевым. Последний также пытался превратить свою жизнь в текст и при помощи этого изменить политическое положение. Добавим, что кельсиевская исповедь впервые была опубликована, как и роман Шкловского, именно в 1923 г. в берлинском «Архиве русской революции» (Кельсиев В. И. Исповедь // Архив русской революции. Берлин: Slowo-Verlag, 1923. Т. 11. С. 169–310). Письмо во ВЦИК завершает «Зоо» — письмо графу П. А. Шувалову «открывает» текст кельсиевской исповеди. В 1920–1930-е гг. поступок Шкловского не был уникален: произошла целая серия возвращений, требовавших рекомендаций и публикаций, подтверждающих искренность и лояльность. Один из самых ярких и драматичных примеров мы найдем в биографии вернувшегося уже в Советскую Россию в 1932 г. Д. П. Святополк-Мирского, предварительно подготовившего свое возвращение написанием книги о В. И. Ленине, ходатайствами М. Горького и рядом публичных высказываний о своей поддержке советской политики (см.: [Ефимов, Смит: 464–538]).

Один из центральных эпизодов «Исповеди» — кризис 1863 г., связанный с польским восстанием 1863–1864 гг., и последовавшая за этим реакция. Растерянность эмигрантов, рост националистических настроений в России и сомнение в действенности революционной практики после новых судебных процессов (в частности, начала знаменитого «процесса 32-х») подталкивают Кельсиева к пересмотру убеждений:

«Очевидно со дня на день становилось, что наши чистые и честные верования были утопией, неприложимой к делу теорией, <...> черные думы не унимались, а одна за другой возникали в уме, как какие демоны, явившиеся мучить мою душу» (*Исповедь*: 369).

Ни увещевания Герцена, ни сторонние занятия не способны его отвлечь:

«Я метался от книги от книги, я магию даже стал изучать, спиритизм; я цареградские трущобы стал исследовать <...> ничто не брало» (*Исповедь*: 369).

Кельсиев утверждает, что с этого момента отказался от антиправительственной деятельности, хотя это противоречит его дальнейшей биографии (см.: [Гросул: 160–163 и далее]).

Поворотным моментом становится и личная трагедия: в 1864–1865 гг., во время жизни в Тульче и Галаце, трагически умирают его брат, дети и жена. В «Исповеди» он отмечает, что именно смерть брата побудила его к писательству. Первым результатом стал не дошедший до нас дневник, который, по его словам, представлял собой полное отрицание прежних идей, «страшное по пустоте, которую оно оставляло на месте разбитых идеалов». Кельсиев не скупится на гиперболы:

«...даже поэзия своего рода была, и поэзия сильная; у меня желчь от бешенства клокотала, сарказм сменялся сарказмом; проклятие миру, его законам, людям, жизни и смерти, небу и аду кипело на каждой строке, и мои товарищи в Тульче в ужас приходили, когда я им читал эти вдохновенные строки <...>. Дарование вспыхнуло...» (*Исповедь*: 387)⁵.

⁵ Ср.: Кельсиев В. И. Письмо к Д. В. Аверкиеву. 17 декабря 1864 г. // Русская старина. 1882. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1882. Т. 35. С. 634–637. Об этом письме речь пойдет далее.

Еще более мрачные интонации «Исповедь» приобретает в описании периода, последовавшего за смертью детей и жены:

«Давиться не стоило того, потому что бежать было не от чего, но и жить было не для чего, потому что не к чему было стремиться. <...> Я был зверь, а не человек; мне было все равно, что делать и как делать, только бы с голоду не умереть <...>. И я спустился в потемневший город, импровизируя страшную песню, песню отчаяния, которую я пел целую эту зиму 1865/66 г.» (*Исповедь*: 398).

В письмах этого периода к Герцену и Огареву он признавался:

«С жизнью у меня, очевидно, покончено — я вольная птица, отпетый человек, я из рода людского выэмигрировал»⁶.

Этот кризис становится переходной точкой. Кельсиев уезжает в Вену, сближается с тамошним Славянским клубом, отправляется в путешествие по Галичине и Молдавии, принимается за публикацию этнографических и публицистических очерков в российских умеренно либеральных и консервативных изданиях («Голосе», «Русском вестнике» и др.) под псевдонимом *Иванов-Желудков*, склоняется к славянофильству, переходит к резкой критике поляков, украинофилов (сторонников развития украинской народной культуры) и евреев, вследствие чего его очерки критикуют за шовинизм и антисемитизм. В «Исповеди» он сам заботливо указывает на эти публикации, как бы демонстрируя, что его реальному возвращению предшествовала серия литературных репетиций⁷.

⁶ Кельсиев В. И. Письма Герцену и Огареву. Приложение: Письма Филарета Захаровича / публ. П. Г. Рындзюнского // Герцен и Огарев. [Кн.] П. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 206. (Сер.: Лит. наследство; т. 62.)

⁷ А. Н. Пыпин критикует Кельсиева за то, что тот в мемуарах описывал свое прибытие на Скулянскую таможену как внезапный порыв, и иронически замечает: «Но неужели эта мысль не преобладала в его уме, когда он писал свои корреспонденции в "Голос" в течение целого года? Едва ли! Корреспонденции эти, очевидно, должны были служить к тому, чтобы хотя отчасти загладить свою вину» (Пыпин А. Н. [подп.: Д.] Рец. на: Кельсиев В. Пережитое и передуманное. Воспоминания Василия Кельсиева. СПб., 1868 // Вестник Европы. 1868. № 7. С. 453). Речь идет о названных выше статьях под псевдонимом *Иванов-Желудков*.

При возвращении Кельсиеву чудится возможность писать о новых убеждениях открыто, а не «только намеками, недо-молвками». Свою миссию он видит ни больше ни меньше как сделать собственный опыт «достоянием всего читающего мира»:

«Я, некогда один из светочей и надежд этой оппозиционной мо-лодежи, деятельнейший и отважнейший из русских эмигрантов, разве не отрезвлю я моих товарищей и поклонников открытым обличением наших утопий? <...> Кто ж из русских публицистов может сравняться со мной в борьбе с утопистами и с поляками? Кто из них знает этот мир не понаслышке, не по догадкам, не по натянутым выводам из арестантских показаний?» (*Исповедь*: 411).

Такая весьма красноречивая самореклама должна теперь под-сказать, как применить его новые таланты, а сама исповедь — как именно его обличить. Эти доводы оказались действенными: Александр II признал, что Кельсиев «по своим познаниям <...> может быть с пользою употреблен правительством» (цит. по: [Кленовский: 259]).

Заключительная часть «Исповеди» посвящена сдаче Кель-сиева на Скулянской таможне:

«— Да в чем же вы себя обвиняете?.. — Эмигрант, политиче-ский преступник, у меня пропасть вин. — Странно. Что ж вас побуждает сдать?» — Раскаяние и желание загладить прошлое» (*Исповедь*: 416).

Страстная натура Кельсиева ожидала кандалов (*Исповедь*: 416), а получила бюрократический процесс, который рисковал затянуться, но с письмом Шувалову завершился с рекордной скоростью.

«Исповедь» построена линейно: она охватывает путь от деятельности в Лондоне, переходит к описанию тайной поездки в Россию 1862 г., работе в Константинополе, пребыванию в Тульче, Галаце, Вене, Венгрии, Галичине, Молдавии и Валахии и, наконец, к сдаче правительству.

На ее основе Кельсиев создал мемуары «Пережитое и пере-думанное» (1868), адресованные широкой аудитории⁸. Название

⁸ Их публикация сопровождалась рекламной кампанией и контроли-ровалась III Отделением (как первое время все, что было связано с име-нем Кельсиева). Выбранная политика в отношении этого раскаявшегося

«Пережитое и передуманное» отсылало к «Былому и думам» Герцена и воспринималось современниками как намеренная аллюзия и даже пародия:

«...г. Кельсиев, вероятно, вообразил, что всякая его болтовня, даже ученические опыты упражнений в слоге, обратят на себя внимание публики, особенно если он дает своей книге ловкое название "*Пережитое и передуманное*" (не прямая ли пародия на заглавие книги "*Былое и думы*"?) и приделает к каждой главе кричащие, эффектные заголовки»⁹.

При этом «передуманное» одновременно оказывается перифразом герценовских «дум» и намеком на «исправление» его ошибок, а также на перемену убеждений самого Кельсиева, который «передумал» быть революционером. В «Исповеди» и мемуарах он не раз сопоставляет себя с Герценом и Огаревым, с комической серьезностью указывая на их теоретичность и недостаток организаторских способностей, а похвалу таланту Герцена сопровождает легкой иронией:

«Ничего нельзя было поделать: оппозицию они создали, а организовать ее не сумели. Проще выразиться — они были публицисты, а Герцен даже и очень талантливый, но им одних пустяков не доставало, — они не были г о с у д а р с т в е н н ы е л ю д и» (*Исповедь*: 280)¹⁰.

Однако оппозиция между «пережитым» и «передуманным» укладывается и в устойчивую схему мемуарной традиции: рассказ чередует «поэзию и правду», личное и историческое.

эмигранта, несомненно, имела большое значение для государственного имиджа (см. об этом: [Гросул: 217]).

⁹ Минаев Д. Д. <Подп. Д. М.> Для чего иногда люди эмигрируют // Неделя. 1868. № 27. С. 856.

¹⁰ Подобный взгляд на Герцена и Огарева был распространен среди «молодой эмиграции», укорявшей лондонских изгнанников в нежелании перейти к прямому революционному действию. Герцен, в свою очередь, предпочел с какого-то момента отделять «настоящих» нигилистов от «молодой эмиграции», ведь «нигилизм явление великое в русском развитии. Нет, тут всплыли на пустом месте — халат, офицер, писец, поп и мелкий помещик в *нигилистическом* костюме» [Герцен; т. 29, кн. 1: 110]. (См. об этом: [Кибальник: 170–173]). Кельсиев, хотя и в более мягких выражениях, тоже характеризуется им через свою двойственность: «...он (Кельсиев. — В. Д.) был нигилист с религиозными приемами, нигилист в дьяконовском стихаре» [Герцен; т. 11: 331].

В отличие от «Исповеди», структура мемуаров двухчастная, части «Возврат» и «Пережитое» выстраивают повествование в обратном порядке — от возвращения в Россию к предшествующим событиям. Там, где «Исповедь» завершается, мемуары начинаются как публичное размышление над тем же материалом. Сперва демонстрируется результат, «преображение», а затем объясняется приведший к нему путь, что придает рассказу дополнительную драматизацию.

Мемуары завершаются самоубийством П. Н. Краснопевцева, товарища Кельсиева по эмиграции. Погребение, где собираются эмигранты разных национальностей, символически оформляет композицию: спасение предшествует смерти, возвращение — изгнанию. В «Исповеди» Кельсиев — раскаявшийся сын отечества, готовый служить посредником между правительством и раскольниками, славянами в Османской империи или революционерами. В мемуарах он — гражданин, вернувшийся в лоно государства, который выступает драматургом собственной биографии, превращая рассказ о возвращении в историю о чудесном спасении («Возврат»), противопоставленную самоубийству Краснопевцева («Пережитое»).

В мемуарах Кельсиев доводит рассказ о своем преображении едва ли не до карикатуры:

«Мне было досадно чувствовать в себе эту перемену, мне горько было опять становиться русским, но я не мог себя преодолеть»¹¹;

«Как? неужели? — думал я — я, достигший до крайних пределов отрицания, я, отвергший даже республику, даже социализм, даже знание, даже мысль, даже способность рода человеческого выделать из себя что-нибудь путное, <...> неужели я способен увлечься до патриотизма, до панславизма?!» (*Пережитое и передуманное*: 18);

«И мне было душно, и я боролся с собою, я старался подавить в себе этот странный прилив любви и родственного чувства — и ничего я не мог с собою сделать!.. Я был русский, я был горд

¹¹ Кельсиев В. И. *Пережитое и передуманное*. Воспоминания Василия Кельсиева. СПб.: Печатня В. Головина, 1868. С. 16–17. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения *Пережитое и передуманное* и указанием страницы в круглых скобках.

Россией, во мне родилась неудержимая страсть служить русскому государству...» (*Пережитое и передуманное*: 19).

Можно предположить, что именно такие пассажи держал в голове Герцен, когда давал мемуарам следующую характеристику:

«...неотлагаемая потребность всенародной исповеди и ее странная усеченность, бестактность рассказа, неуместная смешливость рядом с неприличной в кающемся и прощенном развязностью...» [Герцен; т. 11: 329].

После первой части, посвященной заключению и возвращению (при этом упущены сведения о допросе, которые бы цензура, само собой, не пропустила¹²), Кельсиев переходит к размышлению о причинах появления революционной эмиграции «на русской почве». Он не стремится к исторической реконструкции, а предлагает акт публичного самоанализа:

«...каждый из нас <...> сделал бы лучше, если бы анализировал самого себя». «Дать подробный отчет себе и публике дело весьма нелишнее...» (*Пережитое и передуманное*: 244).

Кельсиев делает самого себя предметом исследования — и это для него не случайно. Воспитанное «в духе нового времени», его поколение — «жертвы не столько нашего произвола, сколько этой самой истории» (*Пережитое и передуманное*: 245). «Дух нового времени» и привел к тому, что Кельсиев «сделался эмигрантом потому, что не мог эмигрантом не сделаться. <...> ...не только без всякой причины, не только без всякого внешнего толчка, но даже против советов и против желания редакторов "Колокола". <...> ...время было такое, таким воздухом веяло» (*Пережитое и передуманное*: 246–248). Автобиографический рассказ способен «разъяснить многое, что остается загадочным для нас самих» (*Пережитое и передуманное*: 246).

Он анализирует культурные влияния, оформившие его мировоззрение. Детство прошло в атмосфере романтизированного декабристского мифа (*Пережитое и передуманное*: 248), а сами декабристы для Кельсиева, воспитанного «на литературе

¹² Записи допроса см.: (*Исповедь*: 417–442). Герцен был недоволен этим упущением, хоть и поражался возможности опубликовать даже усеченные мемуары в России: «Всего глупее, что именно то, что нужно было, того и нет — т. е. его дела в Петербурге под арестом» [Герцен; т. 29, кн. 2: 423].

Карамзинского периода, на "Сионском вестнике", на мистиках конца прошлого и начала нынешнего века», были не менее привлекательны «всяких графов С. Жермен, Калиостро, Пифагора...» (*Пережитое и передуманное*: 250).

Его описание домашней библиотеки отца — каталог культурных авторитетов его детства:

«...тут были сочинения Карамзина, Пушкина, Державина, Сумарокова, Хераскова, Княжнина, митрополита Платона, "Сионский вестник", "<"Детское чтение">", "Старик везде и нигде", "Гросфильдское Абатство", "Удольфские таинства", "Жилблас", какие-то анекдоты Наполеона, "Житие Фридриха Великого", "Житие Екатерины Великой", "Деяния Петра Великого" Голикова, тут же был "Всеобщий стряпчий", "Пансальвин, князь тьмы"...» (*Пережитое и передуманное*: 252).

Эти книги плохо сочетались с окружающим бытом, но литература «обаятельно отрешала <...> от всего окружающего» (*Пережитое и передуманное*: 253).

По мере взросления героя прежняя романтическая картина мира дала трещину. «Разочарование, внесенное Байроном, привело нас к анализу Диккенса, к смеху Гоголя» (*Пережитое и передуманное*: 254), — пишет Кельсиев. Он продолжает:

«Н а т у р а л ь н а я ш к о л а все крушила, все низвергала, она с первого дня своего рождения объявила, что прав нет, а что есть простые смертные, которые едят, пьют, нуждаются в деньгах, два раза в неделю обмываются одеколоном, ходят в вицмундире, сочиняют и переписывают отношения и т. п.» (*Пережитое и передуманное*: 255–256).

Так складывается диалектическое движение — от поклонения «высокому и прекрасному» к критике всего возвышенного (*Пережитое и передуманное*: 258), мечты «об невероятных путешествиях» наталкиваются на «неумолимый хохот Гоголя», «сам видишь свои недостатки <...>, потому что дался и усвоился аналитический метод, сам себя разбираешь, сам себя потрошишь...» (*Пережитое и передуманное*: 259–260). В этой атмосфере возникает жажда тайного или сложнодоступного знания: редких книг по философии и метафизике, сведений о революциях 1848 г. (*Пережитое и передуманное*: 262–263).

Раздваиваясь между верностью порядку и симпатией к бунту, Кельсиев сочувствовал одновременно и декабристам, и Луи-Филиппу (*Пережитое и передуманное*: 264). Позже, узнав о петербургском заговоре 1849 г. (намекающем на петрашевцев), он вообразил заговорщиков «с длинными волосами, в шляпах, надвинутых на брови, в широких плащах с красной подкладкой, с кинжалами и с ядами...» (*Пережитое и передуманное*: 265). Теперь он сочувствовал и им, чему способствовала литература (прежде всего романы Дюма), в которой героизм и преступление сливались в одно.

Поколение, воспитанное на уважении ко всему таинственному и необыкновенному, было одновременно приучено и к отрицанию, «психическому, а затем и к социальному анализу» (*Пережитое и передуманное*: 269). Двойственность молодёжи, основанная на романтической мечтательности и аналитическом отрицании при «полном невежестве общественной жизни», «полном незнании ее вопросов, при отсутствии всякой политической практики и опытных политических руководителей», стала, по его словам, «бочкой пороху», которой оставалось дожидаться искры — Крымской войны (*Пережитое и передуманное*: 268–269). В этом он видит истоки появления и революционных настроений, и эмиграции как следствия исторического давления и кризиса воспитания.

Объяснение собственной политической незрелости посредством круга чтения и культурных влияний вписывает Кельсиев в традицию литературы XVIII–XIX вв., одной из важнейших тем которой является литературная социализация героя. Русская литература выработала устойчивые модели чтения (см. об этом: [Чавдарова]), с помощью которых персонаж идентифицируется как читатель, а реальный читатель воспоминаний может соотнести себя с их автором. При этом социальный и психический анализ Кельсиева сравним с полемикой 1850-х гг. о «лишних людях» и с рассуждениями подпольного парадоксалиста Достоевского о крушении стремлений к «высокому и прекрасному».

Чтение здесь выступает моделью восприятия, формирующей поведенческие сценарии, — подобно тому, как А. И. Тургенев в конце XVIII в. искал модели эмоционального поведения,

соответствующие образу поэта новой чувственности (см. об этом: [Зорин]). В неменьшей степени поиск поведенческих моделей характерен и для XIX в. Потоки активно переводимой и издаваемой зарубежной литературы, столь важной для Кельсиева, формировали в нем одновременно способы отрешения от реальности и аналитический аппарат для сравнения собственной страны с зарубежными (если оставить за скобками то, что они создавали определенные образы читателей). Например, успех романов Вальтера Скотта, по наблюдению Дамиано Ребеккини, знаменует перелом в читательской культуре 1820-х гг.: если сентиментальные и готические произведения побуждали читателя к отождествлению себя с героями, то Скотт предлагает иной тип чтения — основанный на дистанции между героем и читателем, на удовольствии убежать от повседневной скуки в миры далекие и минувшие. Через такие тексты русская публика училась сравнивать эти миры со своим и открывать собственную историю. Этот аналитический взгляд постепенно распространялся и на французский роман — от Поля де Кока до Бальзака, от Эжена Сю до Дюма и Жорж Санд, чьи книги приучали российских читателей к восприятию новых ценностей и форм поведения, прежде чуждых русскому обществу [Rebecchini: 103–104].

В русской литературе XIX в. описание читательских привычек героев становится важным способом их характеристики. Пушкин, Гончаров, Тургенев, Достоевский, Чернышевский — все они используют сцены чтения или описание круга чтения, чтобы раскрыть персонажей: от Онегина и Татьяны до Рудина, Макара Деушкина, Степана Трофимовича или Веры Павловны. Эти сцены формируют восприятие героя и предлагают поведенческую модель, создавая связь между тем, что герой читает, и тем, как он действует (см.: [Бочаров]).

В 1860-е гг. это осознается с особенной силой: «Для Чернышевского и его последователей в 1860-е годы литература была "учебником жизни", книга была призвана активно вторгаться в жизнь и ее формировать» [Паперно: 7]. Если литература 1840–1850-х гг. создает внутреннюю раздвоенность между романтическим идеалом и критическим отрицанием, то позднее возникает идея текста, способного стать предписанием к тому, как себя вести, и тем самым вернуть ощущение целостности.

В этом контексте становится понятна двойственная задача Кельсиева: в «Исповеди» он стремится описать то, как воображаемые миры, создаваемые тягой к таинственному, повлияли на его жизненные решения, тогда как в мемуарах он еще и сам претендует на роль «литературного образца» для подражания. Этой задаче соответствуют и его литературные амбиции. В письме Д. В. Аверкиеву от 17 декабря 1864 г. он с дерзкой уверенностью пишет:

«Вот уже два года с лишком, что я пишу, пишу и пишу, и по моей специальности о сектах, и статьи по общим, преимущественно социальным и метафизическим вопросам. <...> Я уже не верую в радужные видения нигилистов, у меня нет упований <...>. Форма изложения у меня несколько мистическая, — я рассказываю невероятные анекдоты об открытии жизненного эликсира, о магии, о гномах, о жителях планеты Марс и т. п., но под этими аллегориями я ставлю вопросы о возможностях и о пользах. Смешай воедино По, Гулливера, Герцена и Чернышевского, прибавь юмор Сервантеса и жёлчь Данте — и ты придешь к некоторому понятию о слоге и о содержании моих произведений (!). Как творец их, я скажу только, что в них много нового, и буде нет у нас теперь никого на место Чернышевского, то я без стыда занял бы это место в оборванной цепи русских мыслителей, начатой Белинским и теперь, кажется, не продолженной никем»¹³.

Эта самопрезентация является примером характерного для Кельсиева сочетания литературной маниакальности и искренней убежденности в своей особой миссии. Она напрямую связана с прагматикой мемуаров: они задумываются как морализаторский и просветительский проект, как предписывающий текст. Симпатий критиков такая позиция автора не вызывала:

«Г. Кельсиев говорит в своей книге все, что взбредет ему в голову, не жалея самого себя, не щадя терпения читателей»;

«Для чего писать на скорую руку и издавать такую книгу — эту арлекинаду незрелых рассуждений, юнкерских анекдотов и бездельной болтовни "о том, о сем, а больше ни о чем"?»¹⁴.

¹³ Кельсиев В. И. Письмо к Д. В. Аверкиеву. 17 декабря 1864 г. // Русская старина. 1882. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1882. Т. 35. С. 635.

¹⁴ Минаев Д. Д. Для чего иногда люди эмигрируют. С. 861–862.

Ориентированность Кельсиева на тему истории чтения как способ самоанализа укладывается в общий литературный сдвиг 1860-х гг.: в автобиографических текстах теперь нередко демонстрируется, как литературный опыт может формировать личность. Мы видим это в «Былом и думах» А. И. Герцена, «Литературных воспоминаниях» И. И. Панаева, «Моих литературных и нравственных скитальчествах» Ап. Григорьева и др. (см. об этом: [Туниманов: 107–111 и далее]).

В итоге Кельсиев не просто рассказывает о себе — он стремится вписать себя в культурную генеалогию «читателей»: тех, кто формируется под воздействием литературных образцов и впоследствии сам становится объектом чтения.

Реакции современников на публикацию воспоминаний Кельсиева варьируются от сочувствующего, но ироничного взгляда на них Герцена до едва ли не психиатрических диагнозов, поставленных автору Пыпиным и Михайловским, и до отповеди П. Н. Ткачева.

Герцен, бывший соратник по эмиграции, воспринял возвращение Кельсиева прежде всего как личную драму. Его тревожило, что этот поступок приведет к разглашению конфиденциальной или распространению неверной информации, и он следил за общественной реакцией. В письмах Герцена 1867–1868 гг. часто появляется эта тема, в том числе связанная с ожиданием выхода мемуаров Кельсиева [Герцен; т. 29, кн. 1: 136, 183].

Между тем в России поступок Кельсиева становится примером «правильного» раскаяния и приглашением, по мнению Герцена, к возвращению других [Герцен; т. 29, кн. 1: 223]. «Голос» опубликовал о Кельсиеве комплиментарную статью, с подробной биографией, в составлении которой, весьма вероятно, принимал участие сам Кельсиев. Заканчивалась статья так: «...с 11 сентября он находится уже между нами, возвращенный нам милосердием Государя»¹⁵. Нарратив, который выстраивает «Голос», недвусмыслен: возвращение возможно, а для достойных людей, каким зарекомендовал себя Кельсиев в более ранних публикациях в том же «Голосе», — и желанно.

¹⁵ Голос. 1867. № 273. 3 октября. С. 3. Ср. с посвященным ему некрологом: В. Л.-ев. В. И. Кельсиев // Нива: журнал литературы, политики и современной жизни. 1873. Т. 31. С. 481–483.

Когда же «Пережитое и передуманное» наконец попало к Герцену, он не увидел в нем ничего, что требовало бы его комментария или опровержения:

«Кельсиева прочел в $\frac{3}{4}$ — и до сих пор писать отказываюсь, — в книге есть много слабого, его ошеломило освобождение, он мало видит гнусной стороны, он падал до религиозных припадков — но где же преступление?» (письмо Н. П. Огареву от 30 (18) июля 1868 г.) [Герцен; т. 29, кн. 2: 423].

В другом письме к Н. П. Огареву, от 3 августа (22 июля) 1868 г., он добавлял:

«Дочитал Кельсиева — я решительно отказываюсь писать¹⁶ да и тебе не советую. <...> Кельсиев сдался, как сумасшедший, — но не изменил» [Герцен; т. 29, кн. 2: 428]¹⁷.

Герцен увидел в Кельсиеве не изменника и не человека, стремящегося выслужиться, а порывистого, страстного и мистически настроенного мечтателя, сломленного действительностью и не понимающего, куда приложить собственные силы. Такой взгляд становится главной интерпретативной рамкой в мемуарах о Кельсиеве, включенных в «Былое и думы». Герцен завершает воспоминания трагедией Кельсиева, сценой смерти его брата, детей и жены [Герцен; т. 11: 339–340]. (В воспоминания о собственной жизни Герцен тоже включает историю своих семейных драм [Туниманов: 40–41, 96–99].) Примечательно, что и Кельсиев интерпретирует ключевые элементы своего возвращения через влияние на него личной трагедии.

История его возвращения становится типичным, образцовым примером. Не случайно, когда в 1869 г. возникли слухи о возможном возвращении Герцена, он в письме к Тургеневу иронически заметил: «Что я им за Кельсиев II достался!» — и использовал при этом неологизм «прикельситься» в значении принудить возвратиться по «кельсиевскому» сценарию [Герцен; т. 30, кн. 1: 58].

¹⁶ Герцен ограничился двумя небольшими заметками: [Герцен; т. 20, кн. 1: 80–81, 364]. Основные мысли о Кельсиеве, уже без ссылок на его мемуары, Герцен изложил в «Былом и думах».

¹⁷ О Кельсиеве в письмах Герцена 1867–1869 гг. см.: [Гросул: 216–218].

Разоблачающую рецензию написал А. Н. Пыпин в «Вестнике Европы». Для него книга Кельсиева — «материал для психологического этюда», а не источник новых идей. По его мнению, автор ищет «не правды, а просто сюрпризов, сопряженных с эффектами»¹⁸. Пыпина возмущает и сам факт публикации воспоминаний, в которых избыточная искренность оборачивается демонстрацией тщеславия и неправдоподобным — и потому даже для умеренных патриотов вредным — возвеличением России, включая ее полицейских и чиновников. Мемуары, с его точки зрения, нарушают публичную мораль.

В той же логике рассуждает Н. К. Михайловский в статье «Жертва старой русской истории». Он перефразирует с иронией формулу самого Кельсиева о его поколении как жертве новой истории. Михайловский видит Кельсиева не политическим, а «очень любопытным психологическим, если не психиатрическим субъектом»¹⁹. Он подробно анализирует внутренние противоречия мемуаров²⁰, но главное — пытается выявить «психическую суть» автора, в основе которой находит его литературную сформированность, вполне в логике самоанализа самого Кельсиева.

П. Н. Ткачев видит в этом самообличении типично русское и иррациональное, непропорциональное реальным поступкам желание покаяния, иронически подчеркивая, что «новый и еще более сильный прилив раскаяния» Кельсиев испытал именно после того, как успешно обустроился в Петербурге. Сперва в своей публицистике, по словам Ткачева, он «в видах искупления договаривался до бреда», затем решился «выдумать что-нибудь более удивительное и более грандиозное» — «целую книгу со специальною задачею оплевать себя в ней так,

¹⁸ Пыпин А. Н. [подп.: Д.] Рец. на: Кельсиев В. Пережитое и передуманное. Воспоминания Василия Кельсиева. СПб., 1868 // Вестник Европы. 1868. № 7. С. 449.

¹⁹ Михайловский Н. К. Жертва старой русской истории // Отечественные Записки. 1868. № 12. С. 225.

²⁰ В качестве характерного для Кельсиева противоречия Михайловский приводит сцену беседы с евреем из путевых очерков (Михайловский Н. К. Жертва старой русской истории. С. 238–239).

как еще никто никогда на Руси себя не оплевывал...»²¹. «Русофильство» Кельсиева, по Ткачеву, — лишь последняя по времени метаморфоза, за которой непременно последует новая.

В отзывах — от Герцена до Ткачева — выражается устойчивая позиция: воспоминания Кельсиева не воспринимаются как вклад в литературу или политическую мысль, а становятся поводом для психологического анализа. Герцен видит в герое мемуаров символ судьбы изгнанника; Минаев, Пыпин и Ткачев сводят его образ к анекдоту; Михайловский рассматривает его как объект психопатологии.

Показательно, что читатели объясняли поступки Кельсиева его воспитанием, словно именно они провели тот же анализ, который он уже предпринял. Ведь сам Кельсиев превратил свое детское чтение и пристрастие к таинственному в предмет обсуждения, увязав их с интересом к восточным языкам, революции, расколу и Европейской Турции. Он стремился сделать себя самого объектом анализа. В других людях он, впрочем, пытался обнаружить ту же потребность. Так, будучи казацким головою (атаманом) в Добрудже, Кельсиев надеялся предотвратить беспорядки, устраивая доверительные беседы с потенциальными преступниками — своего рода «психический анализ», как он его называл:

«Это удивительно действовало на них, — им как-то совестно становилось продолжать прежнее, они меня щадили, огорчить боялись; мое сочувствие к их бедам и страхам исправляло их. А я никогда не давал им советов и нравоучений не читал. Я просто интересовался их психологическим бытом, <...> исповедь их передо мною исправляла их. Они помнили, что есть на свете человек, который их понял, дорожили моей дружбою и делались людьми, как все люди» (*Исповедь*: 377).

Мемуары Кельсиева были попыткой не только сформировать прецедент литературного и политического возвращения, но и разработать его сценарий. Он стал одним из первых революционеров, кого публично, и притом так стремительно, простило российское правительство.

²¹ См.: [Ткачев: 213]. Рецензия П. Н. Ткачева, предназначенная для июльского выпуска журнала «Дело» за 1868 г., не была разрешена к печати цензурным комитетом, в результате она опубликована только в 1940 г. по корректурным гранкам.

Герцен вспоминал менее удачный пример М. С. Гулевича, также революционера и эмигранта, которому в 1866 г. было отказано в возвращении: «Гулевич просил смиренно прощения — а простил его не государь, а эмигранты» [Герцен; т. 29, кн. 2: 428]²². В отличие от случая Кельсиева, прощение Гулевича не состоялось, хотя в пореформенное время государство стремилось вернуть на родину соотечественников, живших за границей (не столько эмигрантов в строгом смысле, сколько дворян, лишенных политической вовлеченности), и к этому призывали как периодика, так и отдельные писатели (см. об этом: [Гуськов]).

В проправительственных кругах возвращение Кельсиева встретили с энтузиазмом. Достоевский, находясь за границей, с умилением писал об этом Майкову 9 (21) октября 1867 г., выражая тревогу, что теперь на Кельсиева «взъедятся как звери» либералы «семинаро-социального оттенка» и станут обвинять его в доносах [Достоевский; т. 28, кн. 2: 227]. Некоторое время Кельсиев даже был в центре внимания столичного общества, но там интерес к нему быстро угас [Кленовский: 259–261].

Историю Кельсиева можно рассматривать шире: он стремился усовершенствовать язык эмигрантской саморефлексии (подобным образом в России XVIII в. разрабатывались первые литературные биографии, формировавшие представления о роли и месте писателя в обществе и создававшие его репутацию — см.: [Живов]). Поступки Кельсиева — от эмиграции до возвращения из нее и написания мемуаров — представляют своего рода спектакль, в котором биография становится публичным высказыванием.

Здесь уместно вспомнить рассуждения А. Шёнле о «перформансе изгнания» в биографии Н. И. Тургенева, осужденного декабриста и первого политического эмигранта. Шёнле рассматривает изгнание как совокупность публичных действий, через которые личная биография становится разновидностью высказывания. «Изгнание — не частное дело, а ряд поступков, рассчитанных на реакцию публики», — пишет он, определяя этот опыт не как заранее просчитанную стратегию, а как последовательность ситуативных реакций на изменчивые обстоятельства [Шёнле: 53]. К таким обстоятельствам в биографии

²² См.: [Гулевич: 124].

Тургенева относятся его «эмоциональная, моральная, культурная и идеологическая неопределенность и обездоленность», усиливаемая амбивалентным положением России, которая стремится быть частью Европы, но внутренне остается раздробленной. Каждый изгнанник вырабатывает свой поведенческий стиль, опираясь в том числе на культурные роли «от Овидия до Данте и Пушкина» [Шёнле: 53].

Жизнь Тургенева за рубежом, по Шёнле, представляет собой «перформанс изгнания», цель которого — сохранить согласие между личными убеждениями и тем, чего требовала историческая эпоха. До эмиграции он соединял идеи просвещения с умеренным национализмом; за границей стремился дистанцироваться от России и воспринимал Запад как обитель прогресса, но признавал, что «родина сохраняет неодолимую власть над нами» (цит. по: [Шёнле: 64]). Не сумев влиться в западное общество и окончательно разорвать связь с Россией, он пытался сохранить и интеллектуальную свободу, и лояльность. Тургенев добивался пересмотра своего дела и в 1857 г. получил прощение Александра II, при этом в Россию не вернулся, приезжая лишь на короткое время.

Герцен, с точки зрения Шёнле, воплощает противоположную стратегию. Для него отъезд — не движение к будущему, а вынужденное нахождение в прошлом, ведь нынешняя Европа утратила революционную энергию. Верит же он в решающую роль России. Герцен не ищет компромисса с властью и не стремится вернуться: он превращает изгнание в публичную трибуну, используя свободу слова, обретенную им в Европе, чтобы говорить с Россией. В отличие от Тургенева, его стратегия идейно заострена, но внутреннее раздвоение сохраняется: он остается русским писателем, говорящим изнутри европейского контекста, где он ощущает и свободу, и отчуждение.

Мы предлагаем рассмотреть в этой схеме также и Кельсиева. Он представляет обратное движение — его «перформанс изгнания» завершается не закреплением дистанции, а возвращением. «Исповедь» и мемуары Кельсиева можно понимать как последовательные акты публичного высказывания, обращенные и к власти, и к обществу. В отличие от Герцена, он говорит не как оппозиционер — он становится «своим собственным адвокатом» (*Пережитое и передуманное*: 246), стремясь показать

внутренний перелом. Его тексты — это риторический жест, направленный на прекращение изгнания и восстановление связи с русским обществом.

Оригинальность психологической манеры Кельсиева ускользала от критиков, колеблющихся между представлением о нем как о наследнике мистического романтизма и обвинениями в приспособленчестве и политическом авантюризме. Между тем Кельсиева невозможно понять вне его внутренней противоречивости и иррациональности, которые он сам подчеркивает. Противоречивость его натуры — общее место критических и мемуарных высказываний о нем, однако никогда не учитывается, что сам Кельсиев прекрасно отдает себе в этом отчет. Он стремится придать повествованию цельность, указывая на отказ от революционных убеждений как результат общения с раскольниками (историческая логика), но одновременно акцентирует роль семейной трагедии (личные причины). Он подвергает себя анализу, чтобы провести линию преемственности между энтузиазмом 1840-х гг. и разочарованиями 1860-х гг. (историческая логика), и при этом демонстрирует спонтанность и внезапность своих решений, подчеркивает свой интерес к магии, мистике, совпадениям и фантастическим идеям (мистическая логика).

Его «перформанс возвращения», если перефразировать Шёнле, касается не только жизненных практик, но и литературы. По мнению исследователей, история Кельсиева повлияла на создание «Бесов» Достоевского (см.: [Достоевский; т. 12: 231–233], [Тарасова]) — притом, добавим мы, не только на генезис Шатова или Кириллова, но и на «фантастическое» желание Липутина взять и уехать за границу [Достоевский; т. 10: 430], на возвращение Верховенского и Ставрогина.

В одной из работ мы попытались расширить генезис Версилова, героя «Подростка», за счет включения туда Нехлюдова из «Люцерна» Толстого [Дмитриев]. Полагаем, что внезапный и иррациональный отъезд и возвращение Кельсиева находит продолжение в том же герое Достоевского. При всех различиях их происхождения, занятий и интеллектуальных привычек оба они уезжают за рубеж и возвращаются спонтанно. Оба объясняют это в исповедальной форме. Кельсиев уезжает, потому что «таким воздухом веяло», а Версилов «эмигрировал»,

но, к неудовольствию сына, не к «Герцену» (участвовать «в заграничной пропаганде»), а «просто уехал тогда от тоски, от внезапной тоски. <...> Дворянская тоска и ничего больше» [Достоевский; т. 13: 373–374]. Свою идею русской тоски, всемирного служения, скитальчества как мотивировку отъезда и возвращения Версилов совмещает с личными мотивами — запутанными отношениями его с Софьей Андреевной и Ахмаковой. Таким же образом Кельсиев мотивирует свое возвращение одновременно новой захватившей его идеей и духовным опустошением вследствие семейной драмы. Конечно, ни о каком строгом совпадении не может идти речь — скорее, следует сказать, что Кельсиев входит в число эмигрантов, задавших характер и некоторые жизненные мотивы Версилова.

Мы хотели бы дополнить кельсиевский контекст в творчестве Достоевского еще одной деталью. Несмотря на возвращение в Россию, Кельсиев не стал осведомителем III Отделения, никого не оговорил и делился сведениями, уже известными полиции (см. об этом: [Кленовский: 255–256]). Это соответствовало его позиции не отрицать прошлое полностью.

Показательна в этом отношении его обширная рецензия на повесть Стебницкого (Н. С. Лескова) «Загадочный человек» (1870), в основе которой лежала биография Артура Бенни и отчасти самого Кельсиева. В этом произведении Лесков называет 1860-е гг. «комическим временем», а подзаголовок к первой публикации гласит: «Очерк из истории комического времени на Руси». Кельсиев вступает с ним в полемику:

«То было время, к которому я сам принадлежал в качестве деятеля, и подать голос за старых товарищей, одна половина которых находится уже на том свете, а другая в ссылке и в каторге, считаю я своим священным долгом. Мы ошибались: мы думали сотворить в России революцию — но время наше комичным не было. <...> Мне кажется, что и сам Дон-Кихот далеко не только комичен. Мы шли с верою, мы делали ошибки, но шутами горюховыми, как нас старается представить г. Стебницкий, мы не были. Плох комизм людей, которые с утра до вечера ждут ареста, которые видят пред собой виселицу или двенадцать пуль!»²³.

²³ Кельсиев В. И. Загадочный человек: Эпизод из комического времени на Руси, с письмом автора к И. С. Тургеневу, Лескова-Стебницкого // Заря. 1871. № 6. Отд. II. С. 1.

По мнению Кельсиева, Стебницкий-Лесков, хоть и «не люстрируя чужих писем, люстрирует пред публикой старые, давным-давно искупленные и заглаженные чужие грехи...»²⁴, к коим он, вероятно, относит и свои собственные.

Примечательно, что для обоснования серьезности того времени Кельсиев ссылается на фигуру Дон-Кихота — не как комического, а как трагического героя. Такой взгляд восходит еще к Белинскому [Белинский: 244], но из ближайших к рецензии Кельсиева текстов ее можно было почерпнуть из романа «Идиот», в котором Аглая Епанчина замечает, что пушкинский «рыцарь бедный» — это «тот же Дон-Кихот, но только серьезный, а не комический» [Достоевский, 2019: 229].

Однако важнее другой аспект. Кельсиев, несмотря на свой внутренний перелом и не порывая со своим новым образом, продолжает говорить от лица ушедшего революционного поколения и защищать его. Подобная модель высказывания «бывшего революционера» об антиправительственной деятельности повторяется и у Достоевского. Вероятность знакомства Достоевского с этой рецензией большая: она была опубликована в журнале «Заря» (1871, № 6), а это издание, включая другие помещенные туда кельсиевские статьи, Достоевский регулярно читал [Достоевский; т. 12: 219]. Мы полагаем, что рецензия Кельсиева послужила одним из источников статьи Достоевского «Одна из современных фальшей» (1873). В этой работе, завершающей «Дневник Писателя» 1873 г. в составе «Гражданина», Достоевский отрицает утверждение, будто к революции тяготеют «ху...дшие» люди, вполне в духе риторики Кельсиева:

«...я сам старый "начеавец", я тоже стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни, и уверяю вас, что стоял в компании людей образованных. Почти вся эта компания кончила курс в самых высших учебных заведениях. Некоторые впоследствии, *когда уже всё прошло*, заявили себя замечательными специальными знаниями, сочинениями» [Достоевский; т. 21: 129].

В основе заблуждений Достоевского и других петрашевцев были такие влияния, которые захватывали «сердца и умы во имя какого-то великодушия» [Достоевский; т. 21: 131]. В этой

²⁴ Кельсиев В. И. Загадочный человек... С. 28.

статье бывший петрашевец, хоть и настаивает на произошедшем в нем перерождении убеждений, все-таки оправдывает увлечение революционными идеями. Характерно, что далее он вспоминает один из рассказов Кельсиева об эмигрантах [Достоевский; т. 12: 135]²⁵.

В «Исповеди» и «Пережитом и передуманном» Кельсиев создает две версии одной и той же биографической истории, различие между которыми показывает, как автор переосмысливает свою роль. Он сочетает политический жест с литературной самохарактеристикой, сначала выступая кающимся преступником перед властью, а затем — героем «романизированной» исповеди перед публикой. В «Исповеди» он фиксирует внутренний перелом 1864–1865 гг., стремясь показать искреннее покаяние. В «Пережитом и передуманном» автор превращает тот же материал в литературную историю о внезапном спасении — роман воспитания или антивоспитания, где личный кризис становится симптомом эпохи. Он подробно описывает круг юношеского чтения и школьное воспитание — из этого выводит формулу поколения, воспитанного на противоречии между мечтой и анализом.

«Исповедь» и «Пережитое и передуманное» образуют диптих, показывающий путь их автора и героя от политического покаяния к литературной самохарактеристике. Фигура Кельсиева становится предметом полемики о границах покаяния и гражданской ответственности. При этом критика упускала из виду главное: стремление Кельсиева изобразить внутренне противоречивого автобиографического героя, сочетающего аналитический склад ума с иррациональностью поступков. Такой тип мышления и повествования сближает его с Достоевским, сочувственно отнесшимся к его судьбе.

²⁵ См. также другие случаи неоднозначного отношения Достоевского к революционному движению: [Достоевский; т. 21: 451–458].

Список литературы

1. Белинский В. Г. Ответ «Москвитянину» // Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 10: Статьи и рецензии. 1846–1848. С. 221–269.
2. Бочаров С. Г. Пушкин и Гоголь («Станционный смотритель» и «Шинель») // Проблемы типологии русского реализма. М.: Наука, 1969. С. 210–240. EDN: VWTRXH
3. Булатова А. Неуместный модернизм Виктора Шкловского: «Письма не о любви» и границы литературы // Новое литературное обозрение. 2015. № 3 (133). С. 182–196 [Электронный ресурс]. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/133_nlo_3_2015/article/11449/ (15.07.2025). EDN: UDIYTP
4. Герцен А. И. Собр. соч.: в 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1954–1966.
5. Гросул В. Я. Российские революционеры в Юго-Восточной Европе (1859–1874 гг.). Кишинев: Штиинца, 1973. 539 с.
6. Гулевич М. С. М. С. Гулевич — Огареву / публ. Б. П. Козьмина // Герцен и Огарев. II. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 123–125. (Сер.: Лит. наследство; т. 62.)
7. Гуськов С. Н. Зачем «Северная почта» в 1863 году призывала русских дворян вернуться на родину? (Еще раз о деятельности И. А. Гончарова на посту главного редактора правительственной газеты) // Русская литература. 2023. № 4. С. 180–191 [Электронный ресурс]. URL: <https://pushkinskiydom.ru/zhurnal-russkaya-literatura/russkaya-literatura-2023-4/zachem-severnaya-pochta-v-1863-godu-prizyvala-russkih-dvoryan-vernutsya-na-rodinu-eshhe-raz-o-deyatelnosti-i-a-goncharova-na-postu-glavnogo-redaktora-pravitelstvennoj-gazety-prilozhenie-i-p-pis/> (19.07.2025). DOI: 10.31860/0131-6095-2023-4-180-191
8. Дмитриев В. М. Русский человек за рубежом: рассказ «Люцерн» Л. Н. Толстого в романе Ф. М. Достоевского «Подросток» // Проблемы исторической поэтики. 2024. Т. 22. № 4. С. 158–179 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1732466606.pdf (15.07.2025). DOI: 10.15393/j9.art.2024.14502. EDN: AJPDJL
9. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
10. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. и писем: в 35 т. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Наука, 2019. Т. 8. 564 с.
11. Ефимов М., Смит Дж. Святополк-Мирский. М.: Молодая гвардия, 2021. 704 с. (Сер.: Жизнь замечательных людей.)
12. Живов В. М. Первые русские литературные биографии как социальное явление: Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков // Новое литературное обозрение. 1997. № 25. С. 24–83. EDN: PYILZL
13. Зорин А. Л. Появление героя: из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века. М.: Новое лит. обозрение, 2024. 563 с. (Сер.: Интеллектуальная история.)

14. Калинин И. А. «Человек один идет по льду...». Повороты истории и мемуарные траектории Виктора Шкловского // Шкловский В. Б. Собр. соч. / отв. ред. И. Калинин. [2-е изд.]. М.: Новое лит. обозрение, 2019. Т. 2: Биография. С. 6–13.
15. Кибальник С. А. Философский интертекст творчества Достоевского. СПб.: Петрополис, 2021. 364 с.
16. Кленовский М. М. <Вступительная статья к «Исповеди» В. И. Кельсиева> // А. И. Герцен. П. М.: Изд-во АН СССР, 1941. С. 253–264. (Сер.: Лит. наследство; т. 41/42.)
17. Кравчук И. А. «Игривенькие сюжетцы» «Русского инвалида» в записной тетради Ф. М. Достоевского // Философические письма. Русско-европейский диалог. 2024. Т. 7. № 4. С. 195–219 [Электронный ресурс]. URL: <https://phillet.hse.ru/article/view/24258/20221> (15.07.2025). DOI: 10.17323/2658-5413-2024-7-4-195-219. EDN: USLHTO
18. Лесков Н. С. Полн. собр. соч.: в 30 т. М.: Терра, 2004. Т. 8. 943 с.
19. Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М.: Новое лит. обозрение, 1996. 208 с. (Сер.: Научное приложение; вып. 6.)
20. Соколов Н. П. В. И. Кельсиев // Русские писатели. 1800–1917: биографический словарь / гл. ред. П. А. Николаев. М.: Большая российская энциклопедия, 1992. Т. 2: Г–К. С. 526–527.
21. Соловьев К. А. Общественно-политические взгляды и деятельность В. И. Кельсиева (1835–1872): дис. ... канд. ист. наук. М., 2010. 392 с. EDN: QEZRPP
22. Соловьев К. А. Василий Кельсиев: путь интеллигента в революцию // Новый исторический вестник. 2011. № 2 (28). С. 88–97 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_16381519_45805489.pdf (15.07.2025). EDN: NUMKEF
23. Тарасова Н. А. Черновой план Достоевского «Зависть»: как начинались «Бесы»? (Достоевский, Артур Бенни и нечаевское дело) // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2024. № 4 (28). С. 117–164 [Электронный ресурс]. URL: https://dostmirkult.ru/images/2024-4/05_Tarasova_2024_4_117-164.pdf (15.07.2025). DOI: 10.22455/2619-0311-2024-4-117-164. EDN: IGFXGT
24. Ткачев П. Н. О книге Кельсиева / публ. и коммент. А. Шилова // Шестидесятые годы: мат-лы по истории литературы и общественному движению / под ред. Н. К. Пиксанова и О. В. Цехновицера. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. С. 212–219.
25. Туниманов В. А. А. И. Герцен и русская общественно-литературная мысль XIX в. СПб.: Наука, 1994. 226 с.
26. Чавдарова Д. Ното legens в русской литературе XIX века. Шумен: Аксиос, 1997. 141 с.
27. Шёнле А. Эмоциональная, моральная и идеологическая амбивалентность изгнания. Николай Тургенев и перформанс политической эмиграции // Век диаспоры: траектории зарубежной русской литературы (1920–2020): сб. ст. / под ред. М. Рубинс. М.: Новое лит. обозрение, 2021. С. 52–89. (Сер.: Научное приложение; вып. 208.)

28. Rebecchini D. Reading Foreign Novels, 1800–1848 // Reading Russia. A History of Reading in Modern Russia / ed. by D. Rebecchini and R. Vas-sena. Milano: Ledizioni, 2020. Vol. 2. P. 57–105.
29. Tchertkov L. Between Hoffman and Herzen — Vasily Kelsiev // Gnosis. 1978. No. 3–4. P. 21–26.

References

1. Belinskiy V. G. Answer to “Moskvityanin”. In: *Belinskiy V. G. Polnoe sobranie sochineniy: v 13 tomakh* [Belinsky V. G. *The Complete Works: in 13 Vols*]. Moscow, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1956, vol. 10, pp. 221–269. (In Russ.)
2. Bocharov S. G. Pushkin and Gogol (“The Stationmaster” and “The Overcoat”). In: *Problemy tipologii russkogo realizma* [Problems of the Typology of Russian Realism]. Moscow, Nauka Publ., 1969, pp. 210–240. EDN: VWTRXH (In Russ.)
3. Bulatova A. Viktor Shklovsky’s Misplaced Modernism: “Letters Not About Love” and the Limits of Literature. In: *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2015, no. 3 (133), pp. 182–196. Available at: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/133_nlo_3_2015/article/11449/ (accessed on July 15, 2025). EDN: UDIYTP (In Russ.)
4. Gertsen A. I. *Sobranie sochineniy: v 30 tomakh* [The Collected Works: in 30 Vols] Moscow, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1954–1966. (In Russ.)
5. Grosul V. Ya. *Rossiyskie revolyutsionery v Yugo-Vostochnoy Evrope (1859–1874 gg.)* [Russian Revolutionaries in South-Eastern Europe (1859–1874)]. Kishinev, Shtiintsa Publ., 1973. 539 p. (In Russ.)
6. Gulevich M. S. M. S. Gulevich to Ogarev. In: *Herzen and Ogarev. II*. Moscow, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1955, pp. 123–125. (Ser.: Literary Heritage; vol. 62.) (In Russ.)
7. Gus’kov S. N. Why Did “Severnaya pochta” Urge the Russian Aristocrats to Return to Their Homeland in 1863? (Once Again on I. A. Goncharov’s Activity as Editor-in-Chief of a Government Newspaper). In: *Russkaia literatura* [Russian Literature], 2023, no. 4, pp. 180–191. Available at: <https://pushkin-skijdom.ru/zhurnal-russkaya-literatura/russkaya-literatura-2023-4/zachem-severnaya-pochta-v-1863-godu-prizyvala-russkih-dvoryan-vernutsya-na-ro-dinu-eshhe-raz-o-deyatelnosti-i-a-goncharova-na-postu-glavnogo-redakto-ra-pravitelstvennoj-gazety-prilozhenie-i-p-pis/> (accessed on July 19, 2025). DOI: 10.31860/0131-6095-2023-4-180-191 (In Russ.)
8. Dimitriev V. M. A Russian Abroad: Tolstoy’s Short Story “Lucerne” in Dostoevsky’s Novel “The Adolescent”. In: *Problemy istoricheskoy poetiki* [The Problems of Historical Poetics], 2024, vol. 22, no. 4, pp. 158–179. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1732466606.pdf (accessed on July 15, 2025). DOI: 10.15393/j9.art.2024.14502. EDN: AJPDJL (In Russ.)
9. Dostoevskiy F. M. *Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh* [The Complete Works: in 30 Vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1972–1990. (In Russ.)

10. Dostoevskiy F. M. *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: v 35 tomakh* [The Complete Works and Letters: in 35 Vols]. 2nd ed., corrected and supplemented. St. Petersburg, Nauka Publ., 2019, vol. 8. 564 p. (In Russ.)
11. Efimov M., Smith G. *Svyatopolk-Mirsky*. Moscow, Molodaya gvardiya Publ., 2021. 704 p. (Ser.: Life of Remarkable People.) (In Russ.)
12. Zhivov V. M. The First Russian Literary Biographies as a Social Phenomenon: Trediakovsky, Lomonosov, Sumarokov. In: *Novoe literaturnoe obozrenie*, 1997, no. 25, pp. 24–83. EDN: PYILZL (In Russ.)
13. Zorin A. L. *Poyavlenie geroya: iz istorii russkoy emotsional'noy kul'tury kontsa XVIII — nachala XIX veka* [Hero Appearance: from the History of Russian Emotional Culture of the Late 18th — Early 19th Centuries]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2024. 563 p. (Ser.: Intellectual History.) (In Russ.)
14. Kalinin I. A. “A Man Walks Alone on the Ice...”. The Twists of History and the Memoir Trajectories of Viktor Shklovsky. In: *Shklovskiy V. B. Sobranie sochineniy* [Shklovsky V. B. The Collected Works]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2019, vol. 2: Biography, pp. 6–13. (In Russ.)
15. Kibalnik S. A. *Filosofskiy intertekst tvorchestva Dostoevskogo* [The Philosophical Intertext of Dostoevsky's Works]. St. Petersburg, Petropolis Publ., 2021. 364 p. (In Russ.)
16. Klenovskiy M. M. Introductory Article to “Confession” by V. I. Kelsiev. In: *A. I. Herzen*. II. Moscow, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1941, pp. 253–264. (Ser.: Literary Heritage; vol. 41/42.) (In Russ.)
17. Kravchuk I. A. “Playful Plots” of “The Russian Invalid” in F. M. Dostoevsky's Notebook. In: *Filosoficheskie pis'ma. Russko-evropeyskiy dialog* [Philosophical Letters. Russian and European Dialogue], 2024, vol. 7, no. 4, pp. 195–219. Available at: <https://phillet.hse.ru/article/view/24258/20221> (accessed on July 15, 2025). DOI: 10.17323/2658-5413-2024-7-4-195-219. EDN: USLHTO (In Russ.)
18. Leskov N. S. *Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh* [The Complete Works: in 30 Vols]. Moscow, Terra Publ., 2004, vol. 8. 943 p. (In Russ.)
19. Paperno I. *Semiotika povedeniya: Nikolay Chernyshevskiy — chelovek epokhi realizma* [Semiotics of Behavior: Nikolai Chernyshevsky — a Man of the Age of Realism]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 1996. 208 p. (Ser.: Scientific Application; issue 6.) (In Russ.)
20. Sokolov N. P. V. I. Kelsiev. In: *Russkie pisateli. 1800–1917: biograficheskiy slovar'* [Russian Writers. 1800–1917: Biographical Dictionary]. Moscow, The Great Russian Encyclopedia Publ., 1992, vol. 2, pp. 526–527. (In Russ.)
21. Solov'yov K. A. *Obshchestvenno-politicheskie vzglyady i deyatel'nost' V. I. Kel'sieva (1835–1872): dis. ... kand. ist. nauk* [Socio-Political Views and Activities of V. I. Kelsiev (1835–1872). PhD. histor. sci. diss.]. Moscow, 2010. 392 p. EDN: QEZRPP (In Russ.)
22. Solov'yov K. A. Vasily Kelsiev: the Path of an Intellectual to Revolution. In: *Novyy istoricheskiy vestnik* [The New Historical Bulletin], 2011, no. 2 (28), pp. 88–97. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_16381519_45805489.pdf (accessed on July 15, 2025). EDN: NUMKEF (In Russ.)

23. Tarasova N. A. Dostoevsky's Draft Plan "Envy": How Did "Demons" Begin? (Dostoevsky, Arthur Benni and Nechaev Court Case). In: *Dostoevskiy i mirovaya kul'tura. Filologicheskij zhurnal* [Dostoevsky and World Culture. *Philological Journal*], 2024, no. 4 (28), pp. 117–164. Available at: https://dostmirkult.ru/images/2024-4/05_Tarasova_2024_4_117-164.pdf (accessed on July 15, 2025). DOI: 10.22455/2619-0311-2024-4-117-164. EDN: IGFXTG (In Russ.)
24. Tkachev P. N. About Book of Kelsiev. In: *Shestidesyatye gody: materialy po istorii literatury i obshchestvennomu dvizheniyu* [The Sixties: Materials on the History of Literature and Social Movements]. Moscow, Leningrad, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1940, pp. 212–219. (In Russ.)
25. Tunimantov V. A. A. I. Gertsen i russkaya obshchestvenno-literaturnaya mysl' XIX v. [A. I. Herzen and Russian Socio-Literary Thought of the 19th Century]. St. Petersburg, Nauka Publ., 1994. 226 p. (In Russ.)
26. Chavdarova D. *Homo legens v russkoy literature XIX veka* [Homo Legens in Russian Literature of the 19th Century]. Shumen, Aksios Publ., 1997. 141 p. (In Russ.)
27. Schönle A. Exile as Emotional, Moral, and Ideological Ambivalence: Nikolai Turgenev and the Performance of Political Emigration. In: *Vek diaspor: traektorii zarubezhnoy russkoy literatury (1920–2020): sbornik statey* [The Age of Diaspora: Trajectories of Russian Literature Abroad (1920–2020): a Collection of Articles]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2021, pp. 52–89. (Ser.: Scientific Application; issue 208.) (In Russ.)
28. Rebecchini D. Reading Foreign Novels, 1800–1848. In: *Reading Russia. A History of Reading in Modern Russia*. Milan, Ledizioni Publ., 2020, vol. 2, pp. 57–105. (In English)
29. Tchertkov L. Between Hoffman and Herzen — Vasily Kelsiev. In: *Gnosis*, 1978, no. 3–4, pp. 21–26. (In English)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Димитриев Виктор Михайлович,
кандидат филологических наук,
независимый исследователь
(г. Санкт-Петербург, Российская
Федерация); ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2801-3511>; e-mail:
ganthenbein@gmail.com.

Viktor M. Dimitriev, PhD (Philology),
Independent Researcher (St. Petersburg, Russian Federation); ORCID:
<https://orcid.org/0000-0002-2801-3511>;
e-mail: ganthenbein@gmail.com.

Поступила в редакцию / Received 05.08.2025

Поступила после рецензирования и доработки / Revised 17.09.2025

Принята к публикации / Accepted 19.09.2025

Дата публикации / Date of publication 24.11.2025